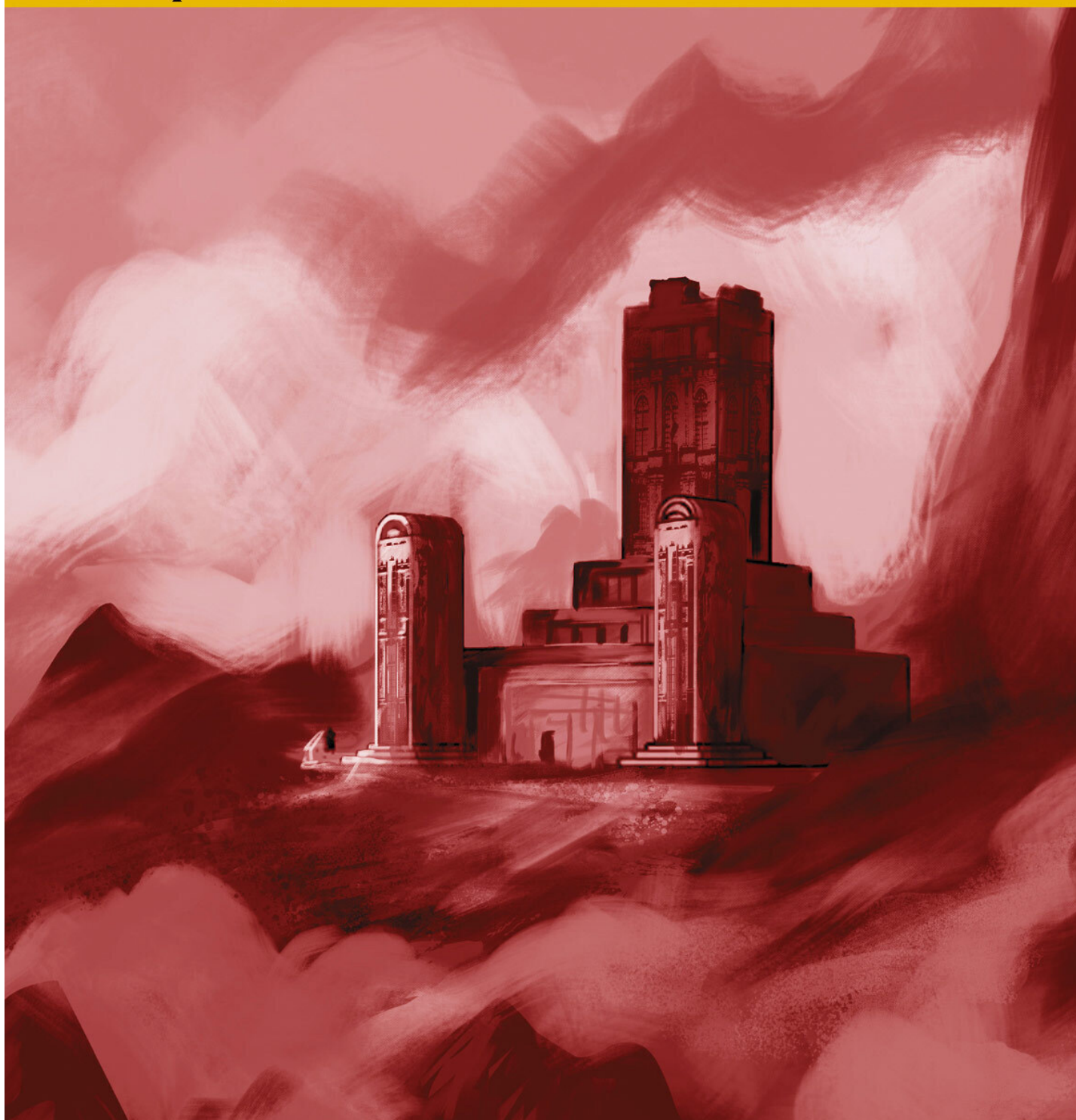


Клайв Стейплз  
Льюис



## Темная башня

[ сборник ]



XX век / XXI век – The Best

Клайв Льюис

**Темная башня**

«Издательство АСТ»

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44

**Льюис К. С.**

Темная башня / К. С. Льюис — «Издательство АСТ», — (XX  
век / XXI век – The Best)

ISBN 978-5-17-133379-9

Произведения К. С. Льюиса, составившие этот сборник, почти (или совсем) неизвестны отечественному читателю, однако тем более интересны поклонникам как художественного, так и философского творчества этого классика британской литературы XX века. Полные мягкого лиризма и в то же время чисто по-английски остроумные мемуары, в которых Льюис уже на склоне лет анализирует события, которые привели его от атеизма юности к искренней и глубокой вере зрелости. Чудом избежавший огня после смерти писателя отрывок неоконченного романа, которым Льюис так и не успел продолжить фантастико-философскую «Космическую трилогию». И, наконец, поистине надрывающий душу, неподдельной, исповедальной искренности дневник, который автор вел после трагической гибели любимой жены, – дневник человека, нашедшего в себе мужество исследовать свою скорбь и сделать ее источником силы.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-133379-9

© Льюис К. С.  
© Издательство АСТ

## Содержание

Настигнут радостью[1]	6
Предисловие	7
I. Первые годы	8
II. Концентрационный лагерь	16
III. Маунтбрэкен и Кэмпбелл	24
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# **Клайв Стейплз Льюис**

## **Темная башня**

### ***Сборник***

**Clive Staples Lewis**  
**Surprised by Joy**  
**A Grief Observed**  
**The Dark Tower**  
**Short Stories**

\* \* \*

Печатается с разрешения The CS Lewis Company Limited при содействии издательства HarperCollins Publishers. Сайт автора [www.cslewis.com](http://www.cslewis.com)

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© C. S. Lewis Pte Ltd., 1947, 1955, 1977  
© Перевод. С. Лихачевой, 2021  
© Перевод. Н. Трауберг, наследники, 2021  
© Перевод. Л. Сумм, 2021  
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

# Настигнут радостью<sup>1</sup> Очерк начала моей жизни

*Посвящается отцу Беде Гриффитсу<sup>2</sup>*

*Настигнут радостью – нетерпелив, как ветер.*

*Вордсворт<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> © Перевод Л. Сумм, 2000, 2021.

<sup>2</sup> Беда Гриффитс (в миру Алан Ричард Гриффитс, 1906–1993) – ученик и друг Льюиса, монах-бенедиктинец, зачинатель диалога между христианством и индуизмом, многие годы провел в Индии, в ашраме. – Здесь и далее, кроме отдельно оговоренных случаев, примеч. пер.

<sup>3</sup> Уильям Вордсворт (1770–1850) – английский поэт-романтик. Стихотворение обращено к умершей дочери.

## Предисловие

Эта книга написана отчасти в ответ на вопросы о том, как я пришел от атеизма к христианству, отчасти же для того, чтобы исправить некоторые неверные мнения. Окажется ли она столь же важной для читателя, как для меня самого, зависит от того, приобщен ли читатель к тому, что я назвал «Радостью». Даже если этот опыт достаточно распространен, мне кажется, он заслуживает более подробного изучения, и я отваживаюсь писать о нем, поскольку не раз убеждался: стоит человеку упомянуть о самых сокровенных и любимых переживаниях, и непременно найдется хотя бы один слушатель, который откликнется: «Как! Неужели и вы тоже?.. Я-то думал, я один такой».

Книга излагает историю моего обращения; это не автобиография и уж ни в коем случае не «Исповедь», как у Августина, тем более как у Руссо. Чем дальше продвигается повествование, тем очевиднее оно расходится с «нормальной» автобиографией: в первых главах сеть раскинута как можно шире, чтобы к тому моменту, когда наступит духовный кризис, читатель уже знал, каким человеком сделали меня мое детство и отрочество. Завершив «фундамент», я перехожу прямо к теме, опуская все факты (сколь угодно важные для обычной биографии), которые не относятся к ней. Невелика потеря: в любой известной мне автобиографии интереснее всего главы, посвященные первым годам жизни. Боюсь, что мой рассказ выйдет удручающе личным; ничего подобного я прежде не писал и, скорее всего, не стану писать и впредь. Я постарался выстроить уже первую главу так, чтобы читатели, которым подобное чтение противопоказано, поняли сразу, во что их втягивают, закрыли книгу и не тратили время понапрасну.

## I. Первые годы

*Вы счастливы, но на короткий срок.*

*Мильтон*<sup>4</sup>

Я родился зимой 1898-го в Белфасте, мой отец – юрист, мать – дочь священника. У моих родителей было только двое детей (оба – мальчики), причем я почти на три года младше брата. В нас соединились два очень разных рода. Мой отец первым в своей семье получил высшее образование: его дед был фермером в Уэльсе; его отец, самоучка, в молодости работал на заводе, потом эмигрировал в Ирландию и к концу жизни стал совладельцем фирмы «Макилвейн и Льюис, Изготовители паровых котлов, инженеры и строители пароходов». Моя мать, урожденная Гамильтон, принадлежала к роду священников, юристов и морских офицеров; ее предки со стороны матери, Уоррены, гордились происхождением от нормандского рыцаря, погребенного в Баттлском монастыре<sup>5</sup>. Столь же разными, как и происхождение, были и характеры моих родителей. Родня отца – подлинные валлийцы, сентиментальные, страстные, склонные к риторике, легко поддающиеся и гневу и любви, они много смеялись, много плакали и совсем не умели быть счастливыми. Гамильтоны – более сдержанная порода, они ироничны, проницательны и в высшей степени одарены способностью к счастью; они направляются к нему прямоком, как опытный путешественник к лучшему месту в вагоне. С ранних лет я чувствовал огромную разницу между веселой и ровной лаской мамы и вечными приливами и отливами в настроениях отца. Пожалуй, прежде чем я сумел подобрать этому определение, во мне уже закрепилось некое недоверие, даже неприязнь, к эмоциям – я видел, как они неудобны, тревожны и небезопасны.

По тем временам мои родители считались людьми «умными», начитанными. Мама с юности проявляла способности к математике, получила степень бакалавра в Королевском Колледже (Белфаст) и незадолго до смерти сама начала обучать меня французскому и латыни. Она с жадностью набрасывалась на хорошие романы, и я думаю, что доставшиеся мне в наследство тома Толстого и Мередита купила именно она. Вкусы отца заметно отличались от маминых: он увлекался риторикой и в молодости выступал в Англии с политическими речами; будь он «джентльменом с независимыми средствами», он бы, несомненно, избрал политическую карьеру. Если б не донкихотское чувство чести, он бы, пожалуй, мог преуспеть в парламенте, поскольку обладал многими из требовавшихся тогда качеств – внушительной внешностью, звучным голосом, подвижным умом, красноречием и отличной памятью. Отец любил политические романы Троллопа<sup>6</sup>; как я теперь догадываюсь, проследившая карьеру Финеаса Финна, он тешил собственные желания и мечты. Он увлекался поэзией, риторической и патетической, – из всех пьес Шекспира он предпочитал «Отелло». Ему нравились почти все юмористы, от Диккенса и до У. У. Джейкобса, и сам он был непревзойденным рассказчиком, одним из лучших рассказчиков особого склада – тех, кто поочередно перевоплощаются в каждого своего персонажа. Как он радовался, когда ему выпадало посидеть часок-другой с братьями, обмениваясь «байками» (так в нашей семье почему-то называли анекдоты)! Ни отец, ни мама не любили тех

---

<sup>4</sup> Джон Мильтон. «Потерянный рай», IV, 370. Перевод А. Штейнберга. Эти слова Сатана произносит, взирая на блаженство Адама и Евы в Эдеме.

<sup>5</sup> Battle Abbey, то есть «монастырь битвы», был построен на месте битвы при Гастингсе (1066), в результате которой Вильгельм Завоеватель стал королем Англии.

<sup>6</sup> Энтони Троллоп (1815–1882) – автор «Хроник Барчестера» (Барсетшира), многотомного повествования о жизни провинциальных священников и помещиков, и романов о Финеасе Финне, ирландском члене парламента.



книг, которые я предпочитал с того самого момента, как научился выбирать их сам. Их слуха не коснулся зов волшебного рога страны эльфов<sup>7</sup>. В доме не водилось стихов Китса или Шелли, томик Кольриджа, насколько мне известно, никто не раскрывал, так что если я вырос романтиком, мои родители за это ответственности не несут. Правда, отец почитал Теннисона, но как автора «Локсли-холла»; я не услышал из его уст ни строчки из «Лотофагов» или «Смерти Артура». А мама, как мне говорили, и вовсе не любила стихи.

У меня были добрые родители, вкусная еда, садик, где я играл – он казался мне огромным; было и еще два сокровища. Первое – это няня, Лиззи Эндикотт, в которой даже взыскательная детская память не обнаружит изъяна: ничего, кроме доброты, веселья и здравомыслия. Тогда еще не додумались до «ученых бонн», и благодаря Лиззи мы проросли корнями в крестьянство графства Даун и принадлежали таким образом к двум очень разным социальным мирам. Вот почему я с самого начала жизни избавлен от распространенного предрассудка – отождествления манер и сущности. С младенчества я твердо знал, что есть шутки, которыми можно поделиться с Лиззи, но которые совершенно неуместны в гостиной; и столь же твердо я знал, что Лиззи – очень хорошая.

Вторым подарком судьбы я назову брата. Он был тремя годами старше, но никогда не вел себя как «большой», мы рано сделались товарищами, даже союзниками, хотя похожи не были. Это заметно и по нашим первым рисункам (не помню времени, когда мы не рисовали). Из-под кисти брата выходили поезда, корабли, я же (если только не брался ему подражать) создавал то, что мы называли «одетыми зверюшками», то есть человекообразных животных, как в детских книжках. Брат рано перешел от рисования к сочинительству; его первое произведение называлось «Юный раджа». Так он присвоил себе Индию, а моим уделом стала сказочная Зверландия, Страна Зверюшек. От первых шести лет моей жизни, о которых я веду рассказ, рисунков не сохранилось, но я сберег множество картинок, нарисованных ненамного позже. Мне кажется, они подтверждают, что по этой части я был способнее брата: я рано научился изображать движение, мои фигурки бегали и сражались, и с перспективой все в порядке. Но ни у меня, ни у брата не найдется ни единого рисунка, ни единой черты, вдохновленной порывом к красоте, сколь угодно примитивной. Здесь есть юмор, действие, изобретательность, но нет потребности в стройном замысле, и к природе мы равнодушны до слепоты. Деревья торчат, точно клоки шерсти, насаженные на спицы, – можно подумать, мы не видели листьев в том самом саду, где играли ежедневно. Теперь я понимаю, что «чувство прекрасного» вообще обошло стороной наше детство. На стенах нашего дома висели картины, но ни одна из них не привлекала, и, по совести говоря, ни одна и не заслуживала внимания. В окрестностях не было красивых домов, и мы не подозревали, что дом может быть красивым. Мои первые эстетические впечатления (да и можно ли назвать их эстетическими?) не были восприятием формы и страдали неизлечимым романтизмом. Однажды, на заре времен, брат принес в детскую крышку от жестянки из-под печенья, которую он выложил мхом и разукрасил ветками и цветами, превратив то ли в игрушечный садик, то ли в лес. Так я впервые встретился с красотой. Настоящий сад не давал мне того, что дал игрушечный. Только тогда я почувствовал природу – не склад красок и форм, но прохладную, свежую, влажную, изобильную Природу. Вряд ли я понял все это сразу, но в воспоминаниях этот садик стал бесконечно важным, и, пока я живу, даже рай представляется мне похожим на игрушечный сад брата. Еще мы любили «Зеленые горы», то есть приземистую линию холмов Каслри, которую видели из окна детской. Они были не так уж далеко, но для ребенка казались недостижимыми, и, глядя на них, я испытывал то недостижимое стремление (*Sehnsucht*<sup>8</sup>), которое, к добру или худу, превратило меня в рыцаря Голубого Цветка<sup>9</sup> прежде, чем мне сравнялось шесть лет.

<sup>7</sup> «Волшебный рог страны эльфов» – аллюзия на стихи Альфреда Теннисона (1809–1892), символ романтизма.

<sup>8</sup> *Sehnsucht* (нем.) – томление, страстное желание, тоска о недостижимом.

Если эстетических впечатлений было мало, то религиозных не было вовсе. Кое-кто из моих читателей решил, что меня воспитали строгие пуритане, – ничего подобного! Меня учили самым обычным вещам, в том числе – повседневным молитвам, и в урочное время водили в церковь. Я воспринимал все это покорно и без малейшего интереса. Моего отца отнюдь нельзя считать образцовым пуританином; более того, с точки зрения Ирландии девятнадцатого века он тяготел скорее к «высокой церкви»<sup>10</sup>. Его отношения с религией, как и с поэзией, полностью противоречат тем, что со временем сложились у меня. Отец с наслаждением впитывал обаяние традиции, древнего языка Библии и молитвенника; у меня этот вкус развился гораздо позднее и с трудом. Зато мало нашлось бы равных отцу по уму и образованию людей, которых столь же мало волновала бы метафизика. Не знаю, во что верила мама. Мое детство никак не отмечено духовным опытом, в нем не было даже пищи для воображения, кроме игрушечного садика и Зеленых холмов. В моей памяти ранние годы сохранились как пора бытового, заурядного, прозаического счастья, они не пронзают меня мучительной ностальгией, с какой я вспоминаю куда менее благополучное отрочество. Тоскую я не о надежном счастье, а о внезапных мгновениях радости.

В том детском блаженстве был лишь один темный уголок. С младенчества меня мучили страшные сны. Это часто бывает с детьми, и все же странно, что в детстве, когда тебя лелеют и оберегают, может открыться окошко в ад. Я различал два вида кошмаров – с призраками и с насекомыми. Особенно пугали насекомые, в те годы я предпочел бы повстречать привидение, чем тарантула. Даже сегодня этот страх кажется мне вполне естественным и оправданным. Оуэн Барфилд<sup>11</sup> как-то сказал мне: «Насекомые так противны оттого, что у них весь механизм снаружи, словно у французского локомотива». Да, дело именно в *механизме*. Эти угловатые сочленения, дерганный шаг, скрипучий металлический скрежет похожи на оживающую машину или, хуже того, на жизнь, выродившуюся в механику. К тому же муравейник и пчелиный рой воплощают два наиболее опасных, по мнению многих, состояния и для нашего вида – власть коллектива и власть женщин. Стоит отметить один случай, связанный с этой фобией. Много лет спустя, уже подростком, я прочел книгу Леббока «Муравьи, пчелы и осы» и на какое-то время всерьез, по-научному заинтересовался насекомыми. Другие занятия вскоре отвлекли меня, но за «энтомологический» период я практически избавился от своих страхов. Думаю, что подлинный, объективный интерес и должен иметь такое действие.

Наверное, психологи не согласятся признать, что причиной кошмаров была отвратительная картинка в детской книжке, но так считали в те простодушные времена. Мальчик-с-пальчик забрался на поганку, а снизу ему грозил жук-олень, заметно превосходивший его ростом. Это страшно само по себе, но хуже другое: рога у жука были сделаны из полосок картона, отделившихся от страницы и поднимавшихся вертикально вверх. С помощью какого-то дьявольского устройства на обратной стороне картинки рога приводились в движение, они распахивались и защелкивались, точно ножницы – клип-клап-клип! Я и сейчас, когда пишу, вижу их перед собой. Не понимаю, как могла наша разумная мама допустить в детскую такую гадость. А может быть (сомнение вдруг охватило меня), сама эта книга – порождение моего кошмара? Нет, не думаю.

В 1905 году, когда мне исполнилось семь лет, произошла первая великая перемена в моей жизни: мы переехали в Новый дом. Отец, по-видимому, преуспевал и потому решил покинуть коттедж, в котором я родился, и выстроить настоящий дом подальше от города. «Новый дом», как мы долго его называли, был очень велик даже по моим нынешним меркам; ребенку он

<sup>9</sup> *Голубой Цветок* – один из основных символов немецкого романтизма. Впервые появляется в романе Новалиса «Генрих фон Офтердингер» (1800). Ср. у Гумилева: «И, может быть, рукою мертвеца/Я лилию добуду голубую».

<sup>10</sup> *Высокая церковь* – направление англиканского протестантизма, сохраняющее католическую обрядность, в отличие от пуританизма и «низкой церкви», решительно порывающих с католицизмом.

<sup>11</sup> *Оуэн Барфилд* (1898–1997) – писатель, филолог, друг Льюиса, один из инклингов.

казался чуть ли не целым городом. Надуть отца ничего не стоило, и строители бессовестно его обманывали: канализация никуда не годилась, все каминные дымоходы, в комнатах гулял сквозняк. Но все это детям не важно; зато переезд расширил фон нашей жизни. Новый дом станет одним из главных героев моей истории. Я воспитан его бесконечными коридорами, пустыми, залитыми солнцем комнатами, чердачной тишиной и исследованными в одиночестве закоулками, отдаленным ворчанием кранов и труб, ветром, гудящим под крышей. Все это – и еще книги – составляло мою жизнь. Отец покупал все книги, которые собирался прочесть, и никогда не избавлялся от них. Книжки в кабинете, книжки в гостиной, книжки в гардеробной, книжки в два ряда в огромном шкафу на лестнице, книжки в спальне, стопки книг мне по плечу, сложенные на чердаке возле водяного бака; всевозможные книжки, след преходящих увлечений моих родителей, пригодные для чтения и непригодные, подходящие для ребенка и абсолютно недопустимые. Мне ничего не запрещали. Бесконечными дождливыми вечерами я снимал с полок том за томом в полной уверенности, что найду нечто новое; так человек, гуляющий в поле, непременно наткнется на новый цветок. Хотел бы я знать, где же таились эти книжки до нашего переезда в Новый дом? Я впервые задумался над этой загадкой сейчас, когда пишу, и ответ мне неизвестен.

За порогом Нового дома открывался тот самый вид, ради которого, конечно, отец и выбрал это место. Открывая дверь, мы видели бескрайние поля, простиравшиеся к Белфастскому заливу, и далее – вытянутую цепь прибрежных гор: Дивис, Колин, Кейв Хилл. В те далекие дни Британия была всемирным импортером и экспортером, и гавань постоянно наполнялась кораблями. Порт притягивал нас, мальчишек, в особенности брата, и даже сейчас ночной гудок парохода возвращает меня в детство. Позади дома виднелись Голливудские холмы – ниже, зеленее и доступнее холмов Антрима, но тогда они меня не интересовали. Меня манил только северо-запад, бесконечный летний закат, когда солнце уходит за голубые хребты и грачи тянутся к дому. В том пейзаже и свершились первые роковые перемены.

Прежде всего брата отправили в закрытую английскую школу, и я на большую часть года остался один. Я хорошо помню свой восторг, когда брат возвращался домой, хотя не помню, как горевал при его отъезде. Изменения в жизни брата никак не отразились на нашей дружбе. Меня пока учили дома: мама – французскому и латыни, всему остальному – прекрасная гувернантка Энни Харпер. Почему-то я боялся этой кроткой маленькой женщины; теперь я вижу, что был к ней несправедлив. Энни была пресвитерианкой<sup>12</sup>, и от нее, между диктантом и арифметической задачей, я услышал проповедь, впервые открывшую мне реальность иного мира. Тогда это значило для меня гораздо меньше, чем события повседневной жизни, которая, судя по моим воспоминаниям, становилась все более уединенной. Возможностей для общения хватало – родители, живший вместе с нами дедушка Льюис (он, правда, преждевременно составил и оглох), служанки и старый попивающий садовник. Кажется, я сделался невыносимым болтуном. Но я всегда мог обрести уединение в доме или в саду: к тому времени я научился читать и писать, и мне было чем заняться.

Писать меня побудила неуклюжесть, от которой я всегда страдал. Мы с братом унаследовали от отца физический изъян: у всех нас большой палец состоит только из одного сустава. Нижний сустав (тот, что ближе к ладони) вроде бы есть, но это фикция, согнуть его мы не можем. Во всяком случае, по той или иной причине, я от рождения не способен ничего делать руками. Я хорошо управлялся с ручкой и карандашом и до сих пор не хуже других повязываю галстук, но с запонкой мне не сладить, не по руке мне и любой инструмент, клюшка, пистолет или штопор. Именно это побудило меня писать. Я мечтал создавать вещи, корабли, машины, дома. Я перепортил все ножницы в доме, извел пропасть картона и в слезах признал свое пора-

---

<sup>12</sup> Пресвитерианство – ответвление протестантизма. Пресвитериане отказались от церковной иерархии и первостепенное значение придают благодати, для которой требуется исключительно вера.

жение. Оставалось одно – сочинять истории. Я и не подозревал, в какой волшебный мир я вхожу: ведь со сказочным замком можно сделать много такого, чего никогда не добьешься от картонного.

Вскоре я получил в собственность одну из мансард и там оборудовал себе «кабинет», повесив на стены свои рисунки и иллюстрации из пестрых рождественских журналов. Туда я перенес чернильницу и ручку, тетради и краски. Здесь —

Ужели есть счастливейший удел,  
Чем наслаждение радостным досугом?<sup>13</sup>

— здесь я с величайшим наслаждением написал и раскрасил свои первые книги. В них я старался совместить оба своих литературных пристрастия, «одетых зверюшек» и «рыцарей в доспехах», и потому писал об отважных мышатах и кроликах, которые выезжали верхом, во всеоружии, на смертный бой не с великанами, но с котами. Однако во мне уже пробудился дух систематизатора, в свое время заставивший Троллопа так тщательно обустраивать Барчестер. На каникулах мы с братом играли в современную Страну Зверюшек, поскольку брату требовались поезда и пароходы. А значит, средневековая страна, о которой я писал, была той же самой, но в иное, древнее время, и эти два периода требовалось скрупулезно соединить. Так, от литературы перейдя к историографии, я принялся за подробную летопись Зверландии. Сохранилось несколько ранних вариантов этого поучительного сочинения, но довести труд до конца я так и не сумел; нелегко заполнить событиями столетия, когда единственный источник – твоя фантазия. Зато одной подробностью своей работы я горжусь до сих пор: все похождения рыцарей, описанные в моих романах, я лишь слегка затрагивал, предупреждая читателей, что это, скорее всего, «просто легенда». Бог весть откуда я узнал, что историк должен критически относиться к эпосу. От истории до географии один шаг. Вскоре появилась карта Зверландии, вернее, несколько достаточно последовательных карт. Оставалось совместить эту страну с Индией моего брата: для этого мы решили перенести Индию с ее обычного места, превратив ее в остров, северное побережье которого оказалось «позади Гималаев». Брат тут же наладил пароходное сообщение между нашими странами. Мы создали целый мир, разрисовали его всеми красками из моей коробки и принялись населять принадлежавшую нам часть взаимодействующими персонажами.

Из прочитанных в то время книг я запомнил почти все, но отнюдь не все полюбил. «Сэр Найджел» Конан Дойла впервые познакомил меня с «рыцарями в доспехах», но я не стал бы перечитывать эту книгу и уж конечно не взялся бы за «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена, хотя тогда только эта книга рассказывала хоть что-то о Круглом столе. Я, к счастью, искал в ней романтику и рыцарей, совершенно не замечая дешевой насмешки над ними. Гораздо лучше, чем обе эти книги, была трилогия Э. Несбит «Пятеро детей и Оно», «Феникс и ковер», «История с амулетом». Особенно дорог мне «Амулет»; благодаря ему я впервые ощутил древность, нечто «в глубокой бездне времени»<sup>14</sup>. Эти книги я до сих пор перечитываю с наслаждением. Очень любил я полное издание «Гулливера» с массой картинок; мог целыми днями перебирать старые подшивки «Панча» в кабинете отца. Тенниел<sup>15</sup>, как и я, любил рисовать зверюшек в одежде – британского льва, русского медведя, египетского крокодила и прочих, а небрежное изображение флоры приятно совпадало с моими собственными недостатками. Позже появились книги Беатрис Поттер, и с ними наконец в жизнь вошла красота.

<sup>13</sup> Цитата из стихотворения Эдмунда Спенсера «Судьба бабочки» (бабочка, подобно басенной стрекозе, горько расплывается за свое легкомысленное блаженство).

<sup>14</sup> Хрестоматийная цитата из «Бури» Шекспира (Акт I. Сц. 2, пер. М. Донского).

<sup>15</sup> *Джон Тенниел* (1820–1914) – автор карикатур в «Панче», иллюстратор «Алисы в Стране чудес».

Совершенно очевидно, что в шесть, семь, восемь лет я жил исключительно воображением; по крайней мере, именно опыт, связанный с воображением, кажется мне самым важным для той поры. Не стоит говорить, к примеру, о поездке в Нормандию: хотя я прекрасно ее помню, я и без нее был бы точно таким же. Однако «воображение» – понятие расплывчатое, нужно сразу его уточнить. «Воображением» именуют и грезы наяву, фантазии, утоляющие несбывшиеся мечты. Все это мне более чем знакомо. Я часто воображал себя таким молодцом и хватом, но Страна Зверюшек – совсем другое дело. В этом смысле ее нельзя назвать фантазией хотя бы потому, что я в ней не жил, я был ее создателем, а не персонажем, дожидаясь, когда его впустят в сюжет. Творчество существенно отличается от «грез». Если вы не видите разницы, значит, вы не знаете одного из «воображений»; тот, кто знает, – поймет. В мечтах я превращался в хлыща; рисуя карту и сочиняя хронику, я становился писателем. Заметьте, писателем, а не поэтом! Созданный мной мир был (по крайней мере, для меня) очень интересен, полон веселья и шума, событий и характеров, а вот романтики в нем не было. Этот мир был на удивление прозаичен<sup>16</sup>. Если употреблять слово «воображение» в высшем, поэтическом смысле, выходит, что в моем мире воображения не было. Там было иное, о чем я сейчас и пытаюсь рассказать. Об этом «ином» куда лучше поведали Траэри и Вордсворт, но каждый рассказывает свою историю.

Прежде всего пришло воспоминание о воспоминании. Был летний день, я стоял в саду возле цветущего смородинового куста, и внезапно, толчком, без предупреждения, из глубины не лет, а столетий, во мне поднялось воспоминание о том, прежнем утре в Старом доме, когда брат вошел в детскую с игрушечным садом в руках. Не могу найти слова, чтобы выразить это чувство. Ближе всего «блаженствовал безмерно» у Мильтона<sup>17</sup>, причем «безмерно» следует понимать во всей полноте исконного значения слова. Конечно, я чего-то хотел, но чего? Ведь я тосковал не по выложенной мхом коробке из-под печенья и даже не по безвозвратному прошлому (хотя и по нему тоже). Ἰὼν λίαν πόθῳ<sup>18</sup> – прежде чем я понял свое желание, оно исчезло, миг миновал, мир вновь сделался обычным. Если что и нарушало покой, то лишь тоска по исчезнувшей тоске. Это длилось миг, и в каком-то смысле всё, что случилось со мной раньше, не имеет в сравнении с этим никакого значения.

Второе мгновение пришло из книги «Бельчонок Орешкинс». Хотя я любил все сказки Беатрис Поттер, они казались просто увлекательными, а в этой меня тревожило, меня потрясало то, что я могу назвать лишь Образом Осени. Может быть, нелепо влюбляться в какое-то время года, но мое чувство было сродни влюбленности; и, как и в первом случае, я испытывал острое желание. Вновь и вновь возвращался я к книге не для того, чтобы удовлетворить желание (это и невозможно – кому дано обладать осенью?), но чтобы его оживить. Здесь снова были блаженное изумление и ощущение бесконечности. Это совершенно не походило на обычную жизнь и нормальные удовольствия. Как теперь говорят, это – из другого измерения.

Третьим мгновением радости я обязан поэзии. Я увлекся «Сагой о короле Олафе» Лонгфелло, но любил в ней только сюжет и мощный ритм. Однажды, бесцельно перелистывая страницы, я наткнулся на нерифмованный перевод «Драпы» Тегнера<sup>19</sup> и испытал совершенно иное наслаждение, будто меня окликнул голос из неведомой страны:

Я слышал голос, восклицавший:  
Бальдр прекрасный  
Умер, умер!..

<sup>16</sup> Для тех, кто читал мои детские книги, скажу, что Зверландия не имела ничего общего с Нарнией, за исключением разве очеловеченных зверюшек. Зверландия принципиально лишена даже намека на волшебство. – *Примеч. авт.*

<sup>17</sup> Джон Милтон. «Потерянный рай», I, 84.

<sup>18</sup> О, я желаю слишком многого (*древнегреч.*).

<sup>19</sup> В действительности это не перевод, а сочиненный самим Лонгфелло плач о смерти шведского поэта Эсайаса Тегнера.

Я ничего не знал о Бальдре, но в тот же миг вознесся в бескрайнее пространство северных небес, я мучительно жаждал чего-то неведомого, неопишуемого – беспредельной шири, сурового, бледного, дальнего холода. В тот же миг я утратил это желание и тосковал уже только по нему.

Читатель, которому показались не очень интересными эти три эпизода, должен отложить книгу – такова истинная история моей жизни. Для тех же, кто готов читать дальше, я укажу главное в этих трех событиях – неудовлетворенное желание, которое само по себе желаннее любого удовлетворения. Я назвал это чувство «Радостью», и это – научный термин, который нельзя отождествлять со счастьем и удовольствием. У моей Радости есть с ними одно и только одно общее свойство – каждый, кто их ощущал, хочет их вернуть. Сама по себе Радость скорее похожа на особую печаль или даже скорбь, но это именно те муки, которых мы жаждем. Несомненно, каждый, кто их знает, не променял бы их на все удовольствия мира. Правда, удовольствия обычно в нашем распоряжении; Радость нам неподвластна.

Не могу с точностью сказать, какие из описанных мной событий произошли до, а какие – после великого горя, к рассказу о котором я сейчас приступаю. Наступила ночь, я плохо себя чувствовал и плакал оттого, что у меня болели зубы и голова, а мама не приходила. Не приходила она потому, что заболела сама; в ее комнате собралось множество докторов, по всему дому раздавались голоса и шаги, открывались и захлопывались двери. Это длилось много часов, а потом ко мне пришел плачущий отец и попытался сообщить мне то, что напуганная душа никак не могла постичь. У мамы был рак, он развивался как обычно: операция (в те времена оперировали на дому), мнимое выздоровление, возвращение недуга, нарастающие боли и смерть. Отец так и не оправился от этой утраты.

Я думаю, дети страдают не меньше взрослых, но по-другому. Нас с братом горе постигло еще до того, как мама умерла. Мы теряли ее постепенно, по мере того как она уходила из нашей жизни в объятия сиделок, недуга и морфия, а жизнь превращалась во что-то грозное и чуждое. Дом наполнялся непонятными запахами, полуночными звуками, зловещим шепотом. Это несчастье повлекло за собой два последствия, одно – очень печальное, второе – хорошее. Беда разлучила нас не только с матерью, но и с отцом. Говорят, общее горе сближает, но, на мой взгляд, это едва ли может произойти, если несчастье обрушивается на людей совершенно разного возраста. По моему личному опыту, горе и страх взрослых отпугивают, парализуют детей. А может быть, это наша вина; если бы мы были «хорошими детьми», мы могли бы облегчить страдания отца – но мы не сумели. Он никогда не отличался крепкими нервами и не мог сдерживать свои эмоции, а в эти тревожные дни его характер сделался совершенно непредсказуемым, он говорил непоследовательно, поступал несправедливо. Так, по особой жестокости судьбы, за несколько месяцев этот несчастный человек вместе с женой потерял и сыновей. Мы с братом все больше привыкали полагаться только друг на друга, только друг другу доверяли, и это делало жизнь хоть сколько-то выносимой. Кажется, мы (во всяком случае – я) уже научились лгать отцу. Из дома ушло все, что делало его домом; все, кроме братской дружбы. С каждым днем мы сближались (это и есть «хорошее»). Два напуганных мальчика жались друг к другу, пытались отогреться в ледяном мире.

В детстве горе осложняется многими другими муками. Меня привели в спальню, где лежала мама, – «попрощаться», но я увидел не «ее», а «это». На взрослый взгляд она не была безобразной, если бы не то полное безобразие, отсутствие образа, которое и зовется смертью. Скорбь исчезла, остался лишь ужас. Говорят о красоте усопших, но худшее из живых лиц цветет ангельской красой по сравнению с прекраснейшим ликом мертвеца. Все, что было потом – и цветы, и катафалк, и самые похороны, – все вызывало во мне только ужас и отвращение. Я даже попытался объяснить тете, как нелеп траур. Многим взрослым эта речь показалась бы тщеславной и бессердечной, но наша тетя Энни, канадская жена дяди Гаса, была почти так же

ясна и разумна, как мама. Ненависть к суете и внешней стороне похорон, вероятно, укрепила во мне свойство, которое я теперь считаю недостатком, но так и не смог преодолеть: неприязнь ко всему общественному и публичному, угрюмую неспособность к соблюдению формальностей.

Смерть мамы породила во мне то, что некоторые (но не я сам) назвали бы первым религиозным опытом. Когда болезнь признали безнадежной, я вспомнил, чему меня учили: молитва с верою должна исполниться. И вот я принялся волевым усилием вызывать в себе уверенность, что мои молитвы непременно будут услышаны; я действительно поверил, что верю в это. Когда мама все-таки умерла, я стал добиваться чуда. Интересно, что неудача никак не подействовала на меня. Этот прием не сработал, но я уже привык к тому, что не все фокусы удаются, и просто перестал об этом думать. Дело, видимо, в том, что убежденность, которую я возбуждал в себе, не имеет никакого отношения к вере, и потому разочарование не стало «кризисом веры». Я обращался к Богу (как я Его себе представлял) без любви, без почтения, даже без страха. В том чуде, которого я ждал, Бог должен был сыграть роль не Искупителя или Судьи, а роль волшебника; сделав то, что от Него требовалось, и уйти. Мне и в голову не приходило, что та потрясающая близость к Богу, которой я добивался, может иметь какие-то последствия, кроме восстановления status quo. Думаю, такая «вера» часто вспыхивает в детях, и крах ее на них не отражается, как ничего не изменило бы чудо, если бы оно произошло в той форме, в какой представляется ребенку.

Со смертью мамы из нашей жизни ушло надежное счастье, исчезли покой и лад. Оставались забавы и удовольствия, бывали и мгновения Радости, но прежняя безопасность не возвращалась никогда. Уцелели острова; великий материк ушел на дно, подобно Атлантиде.

## II. Концентрационный лагерь

*Счет с помощью цветных палочек*  
*Педагогическое приложение к «Таймс» от 19 ноября 1954*

Хлоп-хлоп-хлоп... мы едем в коляске по неровной брусчатке Белфаста в сыром полумраке сентябрьского вечера. Все трое – отец, брат и я. 1908 год, я впервые отправляюсь в школу. Все подавлены. Меньше всего обнаруживает свои чувства брат, хотя у него больше причин грустить, ведь он-то знает, что нас ждет, он уже не новичок. Я, вероятно, несколько возбужден, но не очень. Главным образом раздражает отвратительный костюм, в который меня вынудили облачиться. Еще утром, часа два назад, я бегал на воле в шортах, блейзере и сандалиях, а теперь потею и задыхаюсь в плотном темном костюме, итонский воротничок сжимает горло, ноги уже болят в новых ботинках. Бриджи застегиваются пуговицами у колена; каждый вечер, сорок недель в году, в течение многих лет, раздеваясь по вечерам, я буду видеть на своей коже красный отпечаток этих пуговиц. Ужасней всего цилиндр, который сжимает голову, будто железный. Я читал о мальчиках, попадавших в подобную ситуацию и радовавшихся, что они большие, но сам я таких чувств не испытывал. Мой опыт убеждал, что ребенком быть лучше, чем школьником, а школьником – лучше, чем взрослым. Брат на каникулах предпочитал не вспоминать о школе, а для отца, которому я в этом верил, жизнь состояла из тяжелой работы и страха перед разорением. Впадая в соответствующее настроение (что бывало нередко), он восклицал: «Все это кончится работным домом», – и верил себе или, по крайней мере, думал, что верит, и я, принимая все всерьез, начал опасаться взрослой жизни. Надеть на себя школьную форму значило приготовиться к тюремной робе.

Мы приехали в порт, сели на старый рейсовый пароход до Флитвуда, и отец, печально побродив по палубе, попрощался с нами. Он был глубоко взволнован, а я, увы, сконфужен и сосредоточен на себе. Когда отец сошел на берег, мы даже приободрились. Брат принялся показывать мне корабль, рассказал о других судах, стоявших в гавани. Он – сведущий путешественник, многое повидавший человек. Меня охватило приятное возбуждение. Мне нравилось отражение порта и бортовых огней в маслянистой воде, скрип лебедек, теплый запах из люка машинного отделения. Отплываем, ширится черная полоса между нами и берегом, сочленения палубы вибрируют под ногами. Вскоре мы вышли в море и ощутили вкус соли на губах, скопление огней расплывалось вдали. Больше я ничего не помню. Мы уже улеглись, когда поднялся ветер и началась качка. Брата тошнило, я по глупости завидовал ему – ведь он страдал от морской болезни, как настоящий путешественник. Кое-как я сумел вызвать рвоту, но, увы, я оказался – и остался на всю жизнь – хорошим моряком.

Мое первое впечатление от Англии будет, конечно, непонятно англичанину. Мы высадились на берег примерно в шесть утра, но было темно, как в полночь, и мир, в котором мне предстояло жить, сразу вызвал у меня ненависть. Серым утром равнина Ланкашира и впрямь выглядит мрачно, но я сравнил его с берегом Стикса. Странное английское произношение превращало голоса людей в вопли бесов, но страшнее всего был пейзаж между Флитвудом и Юстоном. Даже сейчас эта местность кажется мне самой скучной, самой негостеприимной на всем острове, но для ребенка, всегда жившего у моря, вблизи гор, она была, как для юного англичанина – Россия. Плоскость! Однообразие! Миля за милей – бесцветная страна, уводившая прочь от моря, окружавшая, сковывавшая. Все было не так: деревянные ограды вместо каменных стен и изгородей, красные кирпичные фермерские домики вместо белых коттеджей Ирландии; поля чересчур велики, даже копны сена неправильные. Верно говорит «Калевала» – в чужом доме и пол кривой. Позднее я примирился со всем этим, но понадобилось немало лет, чтобы избавиться от вспыхнувшей в тот миг ненависти к Англии.



Мы ехали в маленький городок в Хертфордшире; назовем его Бельзен<sup>20</sup>. Лэм воспевал «Зеленый Хертфордшир», по нам, ирландцам, он казался желтым, плоским и каменистым. Климат Англии столь же отличается от ирландского, как и от континентального. В Бельзене я узнал, что такое «погода»: то жгучий холод, то колючий туман, то одуряющая жара, а то вдруг грозы. Там, глядя в лишенное занавесок окно дортуара, я впервые познал жуткую красоту полной луны.

В школе в то время насчитывалось восемь или девять пансионеров и столько же приходящих учеников. Спортивные игры, за исключением бесконечной английской лапты на жесткой спортплощадке, потихоньку вымирали и были заброшены вскоре после моего приезда. Все купание сводилось к еженедельной ванне. Я попал в эту школу в 1908 году, зная начатки латыни, которым меня обучила мать, и вышел из нее в 1910 году с теми же латинскими упражнениями, так и не притронувшись к римским авторам. Главным орудием обучения были часто пускавшиеся в ход трости, висевшие на позеленевшей каминной доске в единственной классной комнате. Учили нас трое: владелец и директор школы (мы прозвали его Стариком), его взрослый сын (Малыш) и вечно сменявшиеся младшие учителя. Один из них не продержался и недели, другого Старик выгнал при учениках, приговаривая, что, если бы сан ему не запрещал, он бы и вовсе спустил его с лестницы. Эта сцена почему-то разыгралась в дортуаре. Все помощники, кроме того, который продержался меньше недели, боялись Старика так же, как и мы. Потом учителей со стороны совсем не стало, и новичков отдали на попечение младшей дочери Старика. К этому времени пансионеров насчитывалось лишь пятеро. Вскоре Старик закрыл школу и принялся исцелять людские души. Я оставался до последнего и покинул судно, когда оно пошло ко дну.

Старик обрек себя на одиночество сильной личности, будто пиратский капитан. Никто в доме не смел держаться с ним на равных; никто, кроме Малыша, не смел даже заговаривать с ним. За едой мы видели всю семью. Сын сидел по правую руку отца, еду мужчинам подавали особо. Менее почетные куски доставались жене хозяина, трем взрослым дочерям (они ели в молчании), помощникам (ели в молчании и они), ученикам (то же самое). Жена никогда не обращалась к Старику по собственной инициативе, однако ей хотя бы разрешалось отвечать ему, а дочери, три трагические фигуры, зимой и летом в одних и тех же поношенных черных платьях, лишь шептали: «Да, папа» или «Нет, папа» в тех редких случаях, когда отец к ним обращался. Посторонние люди редко переступали порог этого дома. Старик и его сын пили за обедом пиво, этот же напиток предлагался наемному учителю, однако ему следовало отказать. Лишь один решился попросить пива и получил его. Через минуту Старик поставил его на место, с грозной иронией спросив: «Не угодно ли вам *еще* пива, мистер Н.?» Мистер Н. оказался смельчаком и невозмутимо ответил: «Да, мистер С., я не прочь». Это он не продержался у нас и недели, и для нас, мальчишек, то были тяжелые дни.

Я-то скорее ходил в любимчиках, хотя, честью клянусь, этой позиции не добивался, да и выгоды ее были невелики. Брата он тоже терзал нечасто. У Старика были излюбленные жертвы, и уж они-то никогда не могли ему угодить. Я как сейчас вижу: Старик входит после завтрака в класс, оглядывается и восклицает: «Ага, вот вы где, Рис, скверный мальчишка! Если я не выбьюсь из сил, уж я вам всыплю сегодня». Он не сердился, но и не шутил. Этот крупный мужчина, толстогубый и бородатый, вроде ассирийских владык, отличался невероятной силой и нечистоплотностью. Ныне любят порассуждать о садизме, но я не усматриваю в жестокости Старика признаков сексуального извращения. Уже тогда я догадывался, а сейчас ясно вижу, почему он избирал именно этих мальчиков. Все они недотягивали до определенного социального статуса, у всех сохранялся простонародный выговор. Бедняга П., милейший, честный,

<sup>20</sup> Развивая образ «концентрационного лагеря», Льюис дает городу имя, напоминающее название нацистского концлагеря Берген-Бельзен.

прилежный, дружелюбный, искренне верующий, каждый день получал порку за одну-единственную провинность: он был сыном дантиста. На моих глазах Старик заставил его наклониться в углу классной и принялся избивать, приказывая после каждого удара пробегать комнату из конца в конец. П. перенес столько порок, что не издавал ни звука, лишь под конец истязаний из груди его вырвался вой уже совершенно нечеловеческий. Как бы я хотел забыть хриплый скрежещущий крик, серые лица мальчиков и наше мертвое молчание<sup>21</sup>.

Несмотря на все строгости, мы на удивление мало работали. Может быть, отчасти потому, что наказание сделалось бессмысленным и непредсказуемым, а отчасти и потому, что нас очень странно учили. Можно сказать, Старик не преподавал ничего, кроме геометрии, которую он в самом деле любил. Он собирал класс и принимался задавать вопросы. Если ответ ему не нравился, он медленно и спокойно говорил: «Принесите мою трость. Вижу, она мне понадобится». Когда мальчик запинаясь, Старик колотил тростью по парте и орал: «Думай! Думай! Думай!» И, уже готовясь к экзекуции, бормотал: «Давай, давай, давай!» Разозлившись по-настоящему, он начинал гримасничать, ковырять в ухе и причитать: «Ай-яй-яй». Порой он вскакивал и кричал, точно медведь в балагане. А Малыш, помощник или младшая дочь тем временем шепотом опрашивали за другой партой нас, новичков. Такие «уроки» занимали немного времени; что же делать мальчикам в остальные часы? Старик решил, что меньше всего хлопот они причинят, если усадить их за арифметику. Приходя в класс в девять утра, каждый брал грифельную дощечку и усаживался считать. Потом нас вызывали отвечать, и мы возвращались на свое место, чтобы считать, считать, считать – до бесконечности. Прочие науки и искусства всплывали на часок, словно острова (скалистые и очень опасные),

которые, подобно ожерелью,  
Нагую грудь пучины украшают<sup>22</sup>.

Пучиной был безбрежный океан арифметики. Перед обедом нужно было доложить, сколько задач ты решил. Лгать было опасно, но надзор за нами был слабым, и помощи тоже не предоставляли. Брат (я же говорил, что он успел приобрести жизненный опыт) вскоре нашел правильный выход: каждое утро он совершенно честно предъявлял пять примеров, не уточняя, что это все те же примеры, вчерашние. Интересно, сколько тысяч раз он их прорешал.

Пора остановиться. Я мог бы еще долго описывать Старика, я так и не поведал кое о чем из самого плохого. Но, может быть, сосредотачиваться на этом дурно; во всяком случае, необязательно. Одну хорошую вещь я могу вспомнить и о нем. Как-то раз один ученик, мучимый раскаянием, признался во лжи, в которой никто не мог бы его уличить. Наш монстр растрогался, похлопал перепуганного мальчишку по спине и проворчал: «Всегда говори правду». Кроме того, хотя он учил жестоко, геометрию он преподавал хорошо. Он пробуждал логику, и эти уроки пригодились мне на всю жизнь. Ему есть одно оправдание: много лет спустя брат повстречал человека, который провел детство по соседству с нашей школой. Этот человек, его родители и, видимо, все соседи считали Старика ненормальным. Быть может, они правы. Кстати, если болезнь начала развиваться у старика незадолго до нашего появления в школе, это проясняет еще одну загадку: мы ничему не научились там, но Старик с гордостью перечислял нам прежних выпускников, получивших престижные стипендии. Значит, его школа не всегда была таким болотом, как в наше время.

Почему отец отправил нас в эту школу? Не от недостатка заботы. Сохранившаяся переписка показывает, что он рассматривал много других вариантов, прежде чем выбрать Бельзен. Я хорошо знаю отца: в таком важном деле он не полагался на первый свой выбор (который мог

<sup>21</sup> Это наказание полагалось за ошибку в доказательстве теоремы. – *Примеч. авт.*

<sup>22</sup> Джон Мильтон. «Комос», 22–23. Перевод Ю. Корнеева.

бы оказаться верным), ни даже на двадцать первый (который был бы сколько-нибудь сносным). Он продолжал свои изыскания, пока не пришел к сто первому выводу, непоправимо ложному. Этим всегда кончаются ухищрения простака, воображающего себя умником. Подобно «Скептику в религии» Эрла, отец всегда оказывался «столь проницателен, что обманывал сам себя». Он похвалялся умением читать между строк. Подвергая сомнению очевидный смысл любого факта или документа, отец бессознательно творил некий истинный и тайный смысл, незримый для всех, кроме него, и порожденный неугомонным воображением. Полагая, что он правильно истолковывает присланный Стариком проспект, на самом деле отец создал легенду о Бельзенской школе. Несомненно, все это стоило ему немалого беспокойства и даже страданий. Казалось бы, выдуманный им миф тут же развеется, когда мы, побыв в Бельзене, расскажем, как обстоит дело, но этого не произошло. Полагаю, этого никогда не происходит – если бы отцы в каждом поколении знали, что происходит с их детьми в школе, вся история образования сложилась бы иначе. Во всяком случае, ни брату, ни мне не удалось переубедить отца. Во-первых (позже это стало еще очевидней), отца вообще было трудно в чем-либо убедить – чересчур активный разум мешал ему слушать. То, что мы пытались ему сказать, никак не совпадало с тем, что отец слышал. Правда, мы не слишком-то и старались. Как и другие дети, мы не знали, с каким стандартом следует сравнивать, и считали все горести Бельзена самыми обычными и неизбежными школьными неприятностями. Кроме того, язык нам сковывала гордыня. Мальчик, вернувшийся домой на каникулы (особенно в первые недели, когда блаженство кажется вечным), принимается «строить из себя». Он предпочтет изобразить наставника шутком, а не чудовищем; ведь страшно показаться трусом или нытиком, но невозможно достоверно описать концентрационный лагерь, не обнаружив, что там ты на тринадцать недель превращался в бледное, заплаканное, трусливое ничтожество. Всем охота похвастать боевыми ранениями, но кто будет хвалиться рубцами рабства? Не стоит винить отца за горестные и бессмысленные годы, проведенные нами в Бельзене; лучше, говоря словами Данте, вспомнить, что и «благо в нем обретши»<sup>23</sup>.

Именно в этой школе я обрел если не друзей, то хотя бы товарищей. Когда брат поступил туда, новичков изводили. На первых порах я располагал покровительством брата (через несколько семестров он перешел в школу, которую мы назовем Виверна<sup>24</sup>), но мне особая защита уже не требовалась. В эти последние, закатные годы пансионеров в нашей школе стало мало и с нами так дурно обращались, что не было никакого смысла дополнительно отравлять жизнь друг другу. Новички появляться перестали, а мы, хоть порой ссорились, и даже по крупному, задолго до конца испытаний свыклись друг с другом и столько вытерпели вместе, что сделались по меньшей мере давними приятелями. Вот почему Бельзен не очень повредил мне. Никакие притеснения старших не терзали ребенка так, как издевательства сверстников. Мы, пятеро уцелевших, провели вместе немало веселых часов. Отмена спортивных игр плохо отразилась на подготовке к престижной школе, куда нам предстояло поступать, но тогда это упущение только радовало. По выходным нас отправляли одних на прогулку. Далеко мы не уходили, но зато покупали сладости в сонной деревушке и посиживали на берегу канала или на откосе железной дороги, возле тоннеля, высматривая поезда. Здесь Хертфордшир не казался таким враждебным. Разговор наш не ограничивался немногими темами, до которых сужается кругозор ученика старших классов, – мы еще сохраняли детскую любознательность. Тогда я впервые принял участие в философском споре. Мы обсуждали, чему подобно будущее – невидимой линии или линии, еще не начерченной. Не помню, какую точку зрения я отстаивал, но я отстаивал ее с искренним энтузиазмом. И еще у нас было то, что Честертон назвал «медленным созреванием старых шуток».

<sup>23</sup> Данте. «Божественная Комедия. Ад». I, 8. Перевод М. Лозинского.

<sup>24</sup> Виверна – разновидность дракона.

Читатель видит, что в школе со мной произошло примерно то же, что и дома: там беда сблизила меня с братом, а здесь, в постоянных бедах, страх и ненависть к Старика объединили одноклассников. Наша школа, конечно, похожа на школу доктора Гримстона в «Наоборот»<sup>25</sup>, только у нас не нашлось доносчика. Все пятеро сплотились против общего врага. Наверное, эти союзы, столь рано складывавшиеся в моей жизни, оказали на меня сильное влияние. Мир до сих пор представляется мне как «мы двое» или «мы, друзья» («горсточка счастливых»<sup>26</sup>), противостоящие чему-то, что больше и сильнее нас. Положение, в котором Англия оказалась в 1940 году, показалось мне вполне естественным, словно этого я и ожидал. Дружба была основой моего счастья, а множество знакомых или общество в целом значат очень мало. Я никак не могу понять, зачем приобретать больше знакомых, чем возможно иметь друзей. По той же причине я не ощущаю интереса (быть может, напрасно) к массовым движениям, к событиям, не затрагивающим человека непосредственно. И в истории, и в романе сражение захватывает меня тем сильнее, чем меньше в нем участников.

Еще в одном отношении школа воспроизвела мой домашний опыт. Жена Старика умерла; произошло это посередине семестра, и с горя он совсем озверел – так озверел, что Малыш даже извинялся за него перед нами. Вы уже знаете, как я научился бояться и ненавидеть эмоции. Новый опыт укрепил мой страх.

Но я еще не упомянул самого главного. Именно там я впервые сделался верующим. Насколько я понимаю, этому способствовали посещения церкви – каждое воскресенье нас водили туда дважды. Церковь была «высокой», «англо-католической». На сознательном уровне многие особенности службы возмущали меня, ведь я был протестантом из Ольстера, к тому же все эти незнакомые обряды составляли часть ненавистной английской жизни. Однако бессознательно я поддавался обаянию горящих свечей и благовоний, пышных облачений и гимнов, которые мы пели, стоя на коленях. И все же не это главное – там я воспринял христианское учение (а не что-то «возвышенное») и наставляли нас люди, по-настоящему верующие. Я не страдал скептицизмом, и во мне ожило то, что казалось мне исконной верой. К этому опыту примешивалась изрядная доза страха, по-моему, довольно полезного и даже необходимого, но если кому-то кажется, что в моих книгах я излишне озабочен адом, то корни этого интереса надо искать не в пуританском детстве, а в англо-католическом Бельзене. Я боялся за свою душу, в особенности – пронзительными лунными ночами, когда свет бил в незапертое окно. Как памятно мне сонное посапывание остальных мальчиков! По-моему, все это было мне на пользу. Я начал серьезно молиться, я читал Библию и учился прислушиваться к голосу совести. Мы с ребятами часто говорили о религии, и, если память мне не изменяет, это были разумные и здравые беседы, очень серьезные без истерической взвинченности и без ханжества, свойственных старшекласникам. Позже вы увидите, как я от этого отошел.

Конечно, с точки зрения учебы это потерянное время; если бы школа Старика не закрылась и я провел бы там еще два года, на университетской карьере можно было бы ставить крест. Я «прошел» лишь геометрию да часть английской грамматики Уэста, и ту я, кажется, выучил сам; все остальное едва выглядывает из океана арифметики, сплошная путаница: даты, сражения, экспорт, импорт. Мы забывали это, едва успев выучить, да и от того, что запомнили, было мало проку. Воображение тоже угасало. На много лет я лишился того, что называю Радостью, даже не вспоминал о ней. Читал я преимущественно всякий вздор, но, поскольку школа не располагала собственной библиотекой, Старик не нес ответственности за мое увлечение рассказами для мальчиков из «Капитана». Все удовольствие от такого чтения состояло в «фантазии», в осуществлении желаний: я подставлял себя на место героя и наслаждался его успехами.

<sup>25</sup> «Наоборот, или Урок родителям» – комическая повесть Ф. Энсти (Томаса Энсти Гатри), в которой мальчик благодаря волшебному камню Гаруды меняется местами с отцом и тот попадает в ужасную школу.

<sup>26</sup> Так заглавный герой хроники Шекспира «Генрих V» назвал малочисленное английское войско, которому предстояло стяжать славу в битве при Азинкуре (Акт IV, сц. 3, пер. Е. Бирковой).

Когда мальчик бросает сказки и берется за «книги для юношества», он многое теряет и мало приобретает. Кролик Питер<sup>27</sup> пробуждает бескорыстный интерес, ведь ребенок не собирается превращаться в кролика, зато он может в него играть, точно так же, как позже – играть Гамлета. А вот неудачник, ставший капитаном национальной футбольной сборной, – это воплощение твоих честолюбивых грез. Я полюбил и романы об античности: «Камо Грядеши», «Тьма и рассвет», «Гладиаторы», «Бен Гур». Можно было бы предположить, что этот интерес связан с моим религиозным обращением, но это не так: хотя ранние христиане участвовали во многих сюжетах, не они привлекали меня. Меня восхищали сандалии и тоги, храмы, рабы, императоры, галеры и цирк; страсть эта, как я теперь понимаю, была эротической и не слишком здоровой. Кроме того, книги по большей части были с литературной точки зрения слабые. Более длительное влияние на меня оказали Райдер Хаггард и научная фантастика Герберта Уэллса. Иные миры пробуждали во мне какой-то умозрительный интерес, совершенно отличавшийся от моего отношения к другим книгам. Это ни в коем случае не было романтикой *Das Ferne*<sup>28</sup>. Ни Марс, ни Луна не доставляли мне «Радость» (в том специальном смысле, который я придаю этому понятию). Влечение было сильнее и примитивней, оно было яростным, как плотская страсть. Позже я понял, что такая грубая жадность – признак душевного, а не духовного голода; видимо, здесь приемлемы психоаналитические толкования. Хотелось бы добавить, что написанные мной инопланетные приключения – не попытка удовлетворить подростковую тягу, а напротив: я скорее пытался изгнать беса или подчинить его более высокому и чистому воображению. Что касается психоаналитического подхода к такой словесности, он вполне оправдан и фанатизмом тех, кто увлекается ею, и отвращением тех, кто ее в руки не берет. Яростное неприятие и неистовое увлечение одинаково навязчивы и насильственны и потому равным образом заслуживают изучения.

Что ж, хватит о Бельзене; год не состоял из одних семестров. Прозабание в скверном интернате прекрасно готовит к христианской жизни – мы учимся жить надеждой, даже верой, ведь в начале семестра каникулы и родной дом столь далеки, что представить их не легче, чем рай. На фоне повседневных ужасов они до нелепости призрачны. Задание по геометрии заслоняет вожделенные каникулы точно так же, как ожидание серьезной операции может заслонить самую мысль о рае. Однако каждый раз невероятное все же происходило. Нереальное, астрономическое число – шесть недель – постепенно сменялось более доступными – через неделю, через три дня, послезавтра – и, наконец, в ореоле почти сверхъестественного блаженства к нам пунктуально являлся Последний день. Этот восторг требовал подкрепления вином и яблоками<sup>29</sup>, он ледяной волной сбегал по позвоночнику и ударял в желудок, порой мы, в сущности, переставали дышать. Правда, была и ужасная, равносильная обратная сторона: в первую же неделю каникул приходилось соглашаться с тем, что учебный год наступит вновь. Так здоровый юноша в мирное время готов признать, что когда-то он умрет, но самое мрачное *emento mori*<sup>30</sup> не убедит его, что это в самом деле случится – не убеждало и нас. И опять же, невероятное все же наступало. Несмотря на уловки воли и воображения, усмехающийся череп проступал из-под всех масок, бил последний час, и снова цилиндр, итонский воротничок, штаны с пуговицами у колена и – хлоп-хлоп-хлоп – вечерняя поездка в порт. Я совершенно убежден, что эти воспоминания облегчили мне переход к вере. Некоторые вещи намного легче вообразить, когда у тебя есть соответствующий опыт: я легко могу представить себе в благополучные времена, что умру и сгнию или что мир исчезнет и превратится в тень, как трижды в год пре-

<sup>27</sup> Кролик Питер – персонаж Беатрис Поттер, как и кролик Бенджамин (см. ниже).

<sup>28</sup> (Неведомой) дали (*нем.*).

<sup>29</sup> Песнь Песней, 2:5 (Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви).

<sup>30</sup> Напоминание о смерти (*лат.*). В XVI веке стало модно предьявлять гостям на пиру в качестве такого напоминания череп или скелет.

вращались в тень Старик и его трость, омерзительная еда, вонь карболки и сырая постель. Мы уже знали, что все в мире преходяще.

Общаясь к домашней жизни тех лет, я сталкиваюсь с хронологическими проблемами. Школьные занятия в какой-то мере отражаются в сохранившихся дневниках, но медлительное, непрерывное движение семейной жизни ускользает. Незаметно нарастало отчуждение от отца. Отчасти в этом никто не виноват, отчасти виноваты мы с братом. Какой добротой и мудростью должен обладать человек сильных чувств, под гнетом своей потери вынужденный воспитывать двух озорных и шумных мальчишек, которые всецело доверяют лишь друг другу! Не только слабости отца, но и его достоинства оборачивались против него. Он был добр и великодушен и никогда бы не ударил ребенка в гневе, и он был слишком импульсивен, чтобы решиться на порку по зрелом размышлении во имя принципа, поэтому единственным средством поддержания дисциплины оставалось его красноречие. И тут роковая склонность к патетике и риторике (я вправе говорить о ней, поскольку ее унаследовал) производила жалкий и комический эффект. Отец хотел обратиться к нам с краткой продуманной речью, вызывая к разуму и совести, но, увы, он стал оратором задолго до того, как стал родителем. Много лет отец служил прокурором. Едва он начинал говорить, как слова наплывали сами, опьяняя его. И вот на мальчишку, разгуливавшего в тапках по сырой траве или не вымывшего за собой ванну, обрушивалась речь Цицерона против Катилины или Берка против Уоррена Гастингса. Аллегория громоздилась на аллегория, один риторический вопрос следовал за другим, дело довершали жесты, блеск глаз и омраченное чело, паузы и каденции. Паузы были опаснее всего. Одна из них как-то раз так затянулась, что брат, наивно решив, будто головомойка миновала, тихонько взял книгу и стал читать; отец, всего на полторы секунды передержавший паузу, естественно, воспринял это как «хладнокровное, умышленное оскорбление». Несоизмеримость наших проступков и его инвектив напоминает мне адвоката у Марциалла, который выходит из себя, перечисляя всех злодеев римской истории, тогда как *lis est de tribus capellis*<sup>31</sup>:

Дело здесь не в убийстве, иль отраве,  
Иль разбое – а три козы пропали.

Увлечшись своей речью, наш бедный отец забывал не только о сути дела, но и о нашем уровне восприятия, изливая на нас свой обширнейший лексический запас; до сих пор помню такие выражения, как «изошренный», «вопиющий», «поползновение». Чтобы ощутить сочность его речи, надо знать, какую энергию вкладывает разгневанный ирландец во взрывные согласные и перекатывающиеся «р». Едва ли можно придумать худший метод воспитания. До какого-то возраста отцовские речи потрясали меня невыразимым ужасом. Сквозь чащобу эпитетов, в сумбуре непонятных слов я отчетливо различал только одну мысль: слушая отца, я и впрямь верил, что разорение близко, что вскоре мы будем побираться, что он навеки запрет дом и оставит нас жить в школе, что нас сошлют в колонии и там преступный путь, на который мы, очевидно, вступили, завершится виселицей. Я лишился последнего убежища, почва уходила из-под ног. Если я просыпался ночью и не сразу различал дыхание брата на соседней кровати, я думал, что они с отцом тайно бежали в Америку, покинув меня навсегда. Так отцовская риторика воздействовала на меня какое-то время, потом она внезапно стала смешной. Я даже помню, когда произошла роковая перемена. Эта история показывает, сколь справедлив был гнев нашего отца и как нелепо он выражал свой гнев. Однажды брат задумал соорудить палатку. Мы вытащили с чердака чехол от пыли, а когда нам понадобились колышки, отыскивали стремянку в пристройке для стирки. Вооружившись топориком, мы живо разделились со стремянкой, вбили четыре колышка в землю и натянули чехол над ними. Чтобы проверить надеж-

<sup>31</sup> Суд идет о трех козах (лат.). Марциалл, «Эпиграммы» VI, 19, перевод Ф. Петровского.

ность конструкции, брат забрался наверх, после чего мы убрали обрывки чехла, совершенно забыв про колышки. Вечером, вернувшись с работы и поужинав, отец вышел с нами в сад. Четыре тонких столбика, торчавшие из земли, возбудили в нем вполне законное любопытство, последовал допрос с пристрастием, и мы не отпирались. Гром и молния обрушились на нас, все пошло по заведенному обычаю, но когда речь достигла кульминации: «Но я узнаю, что вы сломали лестницу! Зачем, позвольте спросить? Чтобы создать недостойное подобие кукольного театра!» – мы оба закрыли лица руками, увы, не от стыда.

Как видно из этого рассказа, отец ежедневно отсутствовал примерно с девяти утра до шести вечера. На это время дом принадлежал нам; с кухаркой и горничной мы то враждовали, то заключали союз. Все побуждало нас строить жизнь так, чтобы отгородиться от отца. Больше всего мы дорожили Индией и Зверландией, а для отца в них места не было.

Но мне не хотелось бы оставлять читателя в убеждении, будто на каникулах мы бывали счастливы только без отца. Он ликовал так же часто, как огорчался, и его милость была столь же неистощима, как и его гнев. Очень часто отец бывал для нас самым щедрым и снисходительным другом, он умел валять дурака вместе с нами и ничуть не вспоминал о своем достоинстве, «не важничал». Конечно, я не мог тогда по-взрослому оценить общение с ним, его юмор, для понимания которого требовалось известное знание жизни, я просто наслаждался хорошим настроением отца, словно хорошей погодой. Да что там, в любом случае каникулы наполнялись почти чувственным наслаждением «быть дома», роскошью, которую мы именовали «цивилизованной жизнью». Я только что упоминал «Наоборот». Наверное, популярность этой книги обеспечило не только ее озорство – это единственная в мире правдивая книга о школе. Камень Гаруды окрасил в подлинные цвета то, что обычно кажется преувеличенным: муки мальчика, оторванного от теплого, уютного, достойного дома и брошенного в грязь, в уродство и унижение школы. Я говорю об этом в прошедшем времени, поскольку с тех пор цена дома, видимо, понизилась, а школы, кто их знает, могли стать получше. Может быть, вам интересно, были ли у нас друзья, родственники, соседи? Были, конечно. Мы особенно обязаны одной семье, настолько обязаны, что лучше уделить ей отдельную главу.

### III. Маунтбрэкен и Кэмпбелл

*Ибо все эти прекрасные люди цвели ранней юностью; не было никого счастливее под небесами; их король был человек благороднейшего духа. Трудно было бы сегодня отыскать столь славное общество.  
Гавейн и Зеленый рыцарь<sup>32</sup>*

Заговорив о родственниках, я вновь вспоминаю о той роли, которую сыграла в моем детстве столь очевидная разница между Льюисами и Гамильтонами. Я рано ощутил контраст между дедушкой Льюисом, глухим, малоподвижным, бормочущим псалмы, озабоченным своим здоровьем и твердящим, что недолго нам осталось его терпеть, и бабушкой Гамильтон, остроумной и острой на язык вдовой, вечно готовой к спору (к ужасу всех родных, она отстаивала самоуправление Ирландии). Бабушка была Уоррен с головы до пят, она презирала условности так, как их способны были презирать только старые южноирландские аристократы, и жила одна в огромной развалюхе среди полусотни кошек. Как часто среди самой невинной болтовни она восклицала: «Вздор и чепуха!» Родись бабушка чуть позже, она бы, несомненно, примкнула к фабианцам<sup>33</sup>. В отвлеченные рассуждения она врывалась, беспощадно требуя «придерживаться фактов», и настаивала на доказательствах, когда ей навязывали общее мнение. Разумеется, ее считали эксцентричной. Такой же контраст я наблюдал и между Льюисами и Гамильтонами следующего поколения. Старший брат отца, дядя Джой (у него было два сына и три дочери), жил неподалеку от нашего Старого дома. Младший мальчик был моим первым другом, но позднее мы разошлись. Дядя Джой был и добр, и умен, и очень привязан ко мне, но я не в силах припомнить, о чем говорили старшие в этом доме – обычные взрослые разговоры о знакомых, о политике, о делах и здоровье. А вот дядя Гас (Огастес У. Гамильтон, брат моей мамы) разговаривал со мной как сверстник, он говорил о Настоящих Вещах. Ясно, увлеченно, без нелепых шуток и глупой снисходительности, он учил меня всем доступным мне наукам и получал от этого такое же удовольствие, как я. Благодаря ему я смог читать Уэллса. Правда, сам по себе, как личность, я едва ли был ему так же дорог, как дяде Джою, но (такая вот несправедливость) именно это меня устраивало. Мы сосредотачивались не друг на друге, а на предмете беседы. Я уже говорил о жене, которую дядя Гас привез из Канады. В ней тоже было то, что я так любил, – ровная, неизменная приветливость без намека на аффектацию, надежный здравый смысл и ненавязчивая способность в любых обстоятельствах поддерживать, насколько возможно, уют и бодрость. Забудем о том, чего нет, и извлечем все из того, что у нас есть. Ни она, ни ее муж не понимали страсти Льюисов беречь заживающие раны и гоняться за несбыточным.

У нас были и другие родственники, значившие для нас гораздо больше, чем родные дяди и тети. В миле от нашего дома высился самый большой дом, какой я только видел в те годы (я назову его Маунтбрэкен), и там жила семья баронета Э. Леди Э. была маминой кузиной и ближайшей подругой; в память мамы она самоотверженно пыталась приобщить к светской жизни нас с братом. На каникулах мы постоянно получали приглашение на обед, и только благодаря этому мы не превратились в дикарей. Обязаны мы не только леди Э. (кузине Мэри), но и всей семье: год за годом нас приглашали на прогулки и в автомобильные поездки (редчайшее удовольствие в те времена), на пикники и в театр. Наша неотесанность, шумливость, неаккуратность так и не смогли поколебать доброту кузины Мэри. Здесь мы чувствовали себя почти как

---

<sup>32</sup> Цитата из средневековой аллитерационной поэмы «Гавейн и Зеленый рыцарь» в прозаическом переложении.

<sup>33</sup> Фабианство – английское социал-демократическое движение рубежа XIX–XX вв.



дома, с одной существенной разницей: нужно было пристойно себя вести. То немного, что я знаю о приличиях и умении себя держать, я почерпнул в Маунтбрэкен.

Сэр У. (кузен Квартус) был старшим из братьев, совместно владевших большим промышленным предприятием в Белфасте. Он принадлежал к сословию и поколению Форсайтов<sup>34</sup>, но либо представлял собой исключение (что вполне возможно), либо Голсуорси жестоко несправедлив к подобным людям. Трудно вообразить себе человека менее похожего на Форсайтов. Он был великодушен, по-детски весел, искренне смиренен и благочестив, очень щедр к бедным. Перед теми, кто от него зависел, он постоянно чувствовал ответственность. Кузен казался веселым и мальчишески беззаботным, но даже тогда я понимал, что жизнь его подчинена долгу. Его высокая фигура и удивительно красивое лицо, обрамленное седой бородой, остались одним из прекраснейших воспоминаний моего детства. Вся семья была красива. Кузина Мэри с годами превратилась в красивую пожилую даму с серебряными волосами и мягким южноирландским выговором, который отличается от пресловутого «ирландского акцента» так же сильно, как речь шотландского горца от городского сленга Глазго. Больше всего мы общались с тремя их дочерьми: хотя они уже считались взрослыми, они были все-таки ближе по возрасту к нам, чем остальные наши родственники и знакомые. Все три были поразительно красивы: старшая, Х., была суровой Юноной, черноволосой королевой, подчас в ее облике проглядывало нечто древнее, иудейское. К. больше напоминала валькирию (все сестры были прекрасными наездницами). Она унаследовала отцовские черты, но в ее лице вспыхивало нечто подобное пылу и утонченности породистого коня, в минуты негодования тонкие ноздри раздувались великолепным презрением. В ней было то, что мужчины по своему тщеславию называют «мужской честностью», в дружбе она была надежней любого мужчины. Младшая, Дж., была самой красивой, в ней все было совершенно – фигура, цвет лица, голос, каждый жест, – но кому дано описать красоту?! Только не думайте, что я был по-детски влюблен в нее. Такая красота, что она открывается и не влюбленному, открывается даже равнодушному и объективному взгляду ребенка. (Первой женщиной, пробудившей во мне чувственность, была школьная учительница танцев, о которой я поговорю позже.)

Маунтбрэкен был кое в чем похож на наш дом. Здесь мы тоже находили закоулки на чердаке, тихие комнаты и множество книг. В первые годы, пока мы еще не пообтесались, мы часто забывали о хозяевах и предавались самостоятельным исследованиям; тогда-то я и наткнулся на «Муравьев, пчел и ос» Леббока. И тем не менее Маунтбрэкен значительно отличался от нашего дома: жизнь здесь текла свободнее и просторнее, плыла, точно баржа по реке, а наша вечно тарыхтела, словно тачка по булыжникам.

Друзей-сверстников у нас не было. Отчасти это обычное следствие школьного воспитания – мы попросту не были знакомы с соседями; но гораздо больше мы обязаны своим одиночеством нашей замкнутости. Один мальчик, живший поблизости, неоднократно пытался сблизиться с нами, а мы всячески избегали его. Каникулярная жизнь слишком коротка, она и так была переполнена чтением, сочинительством, играми, велосипедными прогулками, беседами и планами. «Третий лишний» вызывал у нас яростное неприятие, как и попытки втянуть нас в светскую жизнь (за исключением прекрасного и щедрого гостеприимства Маунтбрэкана). Поскольку в дальнейшем разного рода приглашения сделались для нас подлинным бичом, я лучше скажу о них здесь, и покончим с этим. В те времена устраивали вечера с танцами; на них зачем-то звали и подростков: хозяевам так удобнее – и если дети хорошо знакомы друг с другом и не слишком застенчивы, они вполне могут повеселиться. Для меня такие вечера превратились в пытку, и не только потому, что я смущался. Я терзался ложностью своего положения, которую прекрасно осознавал: я не по своей воле участвовал во взрослом развлече-

<sup>34</sup> В «Сэге о Форсайтах» Джон Голсуорси изобразил род английских промышленников и дельцов как людей жестких, ограниченных, лишенных представления о красоте.

нии, но относились ко мне, как к ребенку. Меня мучила полунасмешливая снисходительность старших, делавших вид, будто они и впрямь считают меня «большим». Прибавим неудобства итонского воротничка, туго накрахмаленной рубашки, тесных башмаков, головокружение и усталость от бодрствования в непривычно поздний час. Думаю, даже взрослым эти посиделки не показались бы увлекательными без вина и флирта; что же за удовольствие для мальчика, не умеющего еще ни пить, ни кокетничать, до утра полировать и без того блестящий паркет? Я не понимал, что так принято, что меня приглашают из вежливости, ради дружбы с отцом или в память матери. Мне все это казалось несправедливым и бессмысленным наказанием, в особенности когда приглашения сыпались в последнюю неделю каникул, вырывая огромный клочок из немногих оставшихся нам золотых часов. Так бы и разордал на части любезнейших хозяев! И чего они к нам привязались? Мы-то им ничего не сделали, мы не заставляли их ходить в гости к нам.

Муки мои усугублялись ложным представлением о том, как мне следует себя вести. Представление это сложилось довольно забавным образом: поскольку я много читал и мало общался со сверстниками, еще до школы у меня выработалась речь, звучавшая чрезвычайно нелепо в устах пухлощекоего мальчишки в итонском пиджаке. Я любил длинные слова, а взрослые, разумеется, считали, будто я рисуюсь. Вовсе нет, просто других слов я не знал. На самом деле, тщеславие требовало школьного жаргона, а не естественной для меня книжной лексики. Многие взрослые вовлекали меня в разговор, заманивали притворным интересом, притворной серьезностью, пока я внезапно не убеждался, что они надо мной смеются. Унижение казалось ужасным, и после двух-трех опытов я установил для себя твердое правило: на этих «сборищах» (как я про себя называл их) говорить только о том, что меня совершенно не интересует, и как можно примитивнее. Мне это удалось, даже слишком хорошо. Словно актер, я играл добровольно избранную роль, подражая самой пустой болтовне взрослых, скрывал подлинные чувства и интересы под жалкой шутливостью и поддельным энтузиазмом, страшно уставал от маски и со вздохом облегчения срывал ее в тот миг, когда мы с братом наконец усаживались в кеб, чтобы ехать домой. Это было единственное счастливое мгновение за весь вечер. Прошли годы, прежде чем я понял, что в пестром обществе хорошо одетых людей тоже можно вести разумный разговор.

Как все-таки перепутаны в нашей жизни справедливые и несправедливые суждения! Нас винят за истинные недостатки, но замечают их совсем не тогда, когда они проявляются. Меня считали тщеславным – и справедливо, но упрекали в тщеславии как раз в тех случаях, в которых оно не играло ни малейшей роли. Взрослые часто говорят о детском тщеславии, не понимая, где именно проявляется тщеславие детей вообще и конкретного ребенка в частности. Так, к моему изумлению, отец всегда утверждал, будто мои жалобы на жесткое и колючее белье – чистое кокетство. Теперь я понимаю, что он имел в виду предрассудок, соединяющий нежную кожу и принадлежность к элите, и полагал, что я таким образом хочу показать свою утонченность. А я попросту не слыхал об этом предрассудке, и если б прислушался к голосу тщеславия, то скорее стремился бы похвастать шкурой грубой, как у моряка. Словом, меня обвиняли в проступке, до которого я еще не дорос. То же самое произошло, когда я спросил, что такое «болтушка». Оказалось, так в просторечии именовалась каша. Взрослые решили, что я притворяюсь не ведающим «народной» речи и тем самым претендую на изысканность. И опять же, я спросил только потому, что прежде не слышал этого слова, а если бы я знал, что оно «вульгарное», я бы предпочел употреблять именно его.

Итак, школа Старика затонула, никем не оплаканная, летом 1910 года. Вновь встал вопрос о моем образовании. На этот раз отец разработал план, который привел меня в восторг. В миле от Нового дома высились кирпичные стены и башенки Кэмпбелл-колледжа, основанного специально для того, чтобы предоставить жителям Ольстера хорошее образование без необходимости ездить в Англию. Мой умница-кузен, сын дяди Джоя, уже учился там, и весьма

успешно. Решили, что я стану пансионером, но с правом возвращаться домой по воскресеньям. Я был счастлив. Я считал, что ничто ирландское, даже школа, не может быть скверным, во всяком случае – настолько скверным, как в Англии. Итак, я отправился в Кэмпбелл.

Я провел в этой школе слишком мало времени, чтобы подробно говорить о ней. Она ничуть не походила на те английские школы, о которых я позже слышал. В классах назначались префекты, но они не пользовались властью. По английскому образцу школу разделили на «дома», но о них вспоминали, только разбивая школьников на команды для игры, причем спорт не был обязательным. Состав учеников был гораздо более «смешанным», чем допустимо в Англии; я учился бок о бок с сыновьями фермеров. Мой лучший приятель был сыном торговца, не так давно он разъезжал с отцовским фургонem, поскольку неграмотный водитель не умел вести счет. Я страшно завидовал ему, а он, бедняга, все вздыхал о тех временах. «Еще в прошлом месяце об эту пору, – говорил он мне, – я не сидел над уроками. Я возвращался домой с работы, для меня на стол стелили скатерть и кормили сосисками».

Как историк я могу только радоваться, что побывал в Кэмпбелле, поскольку он – точная копия английской школы до реформы Томаса Арнольда<sup>35</sup>. Там происходили настоящие поединки на кулачках с секундантами и сотнями бившихся об заклад зрителей. Случались и издевательства над новичками, правда, мне почти не доводилось с ними сталкиваться: жесткая иерархия, как в современной английской школе, здесь не сложилась, каждый завоевывал себе место кулаками или природной смекалкой. С моей точки зрения, здесь имелся один существенный недостаток – отсутствие своего угла. Лишь немногие, самые старшие, получали отдельную комнату, а нам, кроме часов трапезы и вечерней возни с заданиями в специально отведенном просторном классе, было некуда деться. Все время, кроме занятий, мы проводили, либо вливаясь в толпу, либо пытаясь избежать тех непредсказуемых движений, когда людской поток то вытягивается, то сгущается, то замедляет шаг, то устремляется, подобно приливу, в одном направлении, распадается и образуется вновь. Пустынные кирпичные коридоры разносили эхом топот, вопли, визг, пронзительный смех. Мы либо куда-то двигались, либо болтались – в кладовых, в уборных, в большом холле. Все это смахивало на жизнь в зале ожидания.

Притеснение новичков здесь, по крайней мере, отличалось своего рода честностью, это не была продуманная система буллинга, поощряемая школьной иерархией с префектами во главе. Сбившись в стаи по восемь-десять парней, громалы подкарауливали жертву в лабиринте бесконечных коридоров. Их стремительное нападение на фоне общего гама и крика, как правило, замечали слишком поздно. Иногда похищение кончалось для жертвы плохо: двух моих знакомых выпороли в каком-то закоулке, выпороли без всякой злобы – нападавшие даже не знали их в лицо, – чистое искусство для искусства. Я попал в плен лишь однажды, моя участь оказалась несравненно благополучнее, и, пожалуй, об этом стоит поведать забавы ради. Меня на головокружительной скорости протащили по множеству коридоров и переходов, и, придя в себя, я обнаружил, что нахожусь, в числе прочих пленников, в заброшенной комнате с низким потолком, где горел одинокий газовый светильник. Отдышавшись, бандиты схватили первого пленника и подвели его к стене, вдоль которой примерно в метре от пола рядами тянулись трубы. Я встревожился (хотя и не удивился), когда мальчику велели нагнуться, уткнувшись головой в стену под нижней трубой: подумал, сейчас будут пороть. Зато миг спустя очень даже удивился: в комнате, как вы помните, было почти темно; двое бандитов дали мальчишке пинка, и он исчез без звука, без следа. Это показалось мне жутким колдовством. Вывели новую жертву, тоже заставили согнуться, будто для порки, и вновь вместо порки – исчезновение, телепортация, аннигиляция. Наступил мой черед, я получил свой пинок под зад и провалился сквозь

<sup>35</sup> Томас Арнольд (1795–1842) – английский педагог, директор школы Регби. Благодаря его реформе в привилегированных школах существенно возросло значение командного спорта, а власть над новичками была отдана старшекласникам и старостам-префектам (что в свою очередь породило буллинг).

какую-то дыру или отдушину в стене прямиком в угольный погреб. За мной кувырком полетел еще один мальчик, дверь захлопнулась, и бандиты с радостными воплями помчались за новой добычей. Видимо, они побились об заклад с соперниками и им предстояло сопоставить «трофеи». Вскоре нас выпустили, сильно перемазанных, слегка помятых, но в общем невредимых.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.